

Владимир Галактионович Короленко

Государевы ямщики



Владимир Галактионович Короленко
Государевы ямщики
Серия «Сибирские рассказы и очерки»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2593775

Аннотация

«Ленские станки – это как бы сколок прошлых веков, оставленный на далекой реке в нетронутom виде периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях... Это бывшие «государевы ямщики», мужики, несущие на жалованье ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным и мало населенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель, в неделю раз проскачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее...»

Содержание

I. Станочники	4
II. Микеша	13
III. Отчаянный человек на Титаринском станке	26
IV. По реке	38

Владимир Галактионович Короленко Государевы ямщики

I. Станочники

Осенью 188... года мне с двумя товарищами пришлось совершить по Лене путь от Якутска до Иркутска, что составляет приблизительно около трех тысяч верст.

Наше положение давало нам право на «тройку обывательских лошадей с провожатым» бесплатно. Но перед отъездом мы имели несчастье повздорить несколько с местной властью. Исправник, «из хохлов», человек в высшей степени флегматичный и ленивый, не стал с нами спорить или изобретать способы мщения. Он только нашел, что выданная нам бумага составлена неправильно, и выдал другую. В этой последней было все то же, что и в первой, за небольшим исключением: как и в первой, в ней было сказано, что мы имеем право «следовать от станка до станка» и даже с провожатым, но о лошадях не было упомянуто ни слова.

Впоследствии мы узнали, что такими загадочными бумагами якутская полиция снабжала иногда в виде особого одолжения проторговавшихся или прокутившихся на летней

якутской ярмарке иркутских приказчиков. Остальное предоставлялось ловкости и авторитету путников. Если они сумеют импонировать забитому и неграмотному населению, то проедут даром всю дорогу... Они будут кричать, торопить ямщиков, кое-где откупаться подачками от редких грамотеев, кое-где даже, для большей уверенности, бить старост по скулам, а ямщиков по шее. Во всяком случае, такая дружеская бумажка дает возможность сильно сократить расходы длинного и дорогого пути.

С такой же бумажкой в руках очутились и мы. Наше право на «обывательских лошадей» было неоспоримо, но, чтобы восстановить его, нам пришлось бы жаловаться и ждать. Ждать, пока жалоба и резолюция проедут те же три тысячи верст, до Иркутска и обратно, какие приходилось сделать нам... И мы решились пуститься в путь без жалобы...

Сначала дело шло гладко. Под городом споров не возникло. Далее мы ехали от станка до станка, и ямщики везли нас беспрекословно только потому, что нас к ним привозили соседи. Значит, так и нужно. Но затем, уже довольно далеко от города, на одном из станков какой-то грамотей, одетый в звериные шкуры, вчитался в наше «свидетельство» и заподозрил в нем форму знакомой «дружеской бумаги», смысл и значение которой население уже разгадало. Он стал что-то говорить ямщикам по-якутски, те робко окружили нас, топтались, молчали, поталкивали друг друга, и, наконец, задние объявили, что по этой «бумаге» нас везти не следует.

Станочники, вероятно, ждали с нашей стороны вспышки и обычных проявлений авторитета, которые доказали бы им если не наше право, то степень нашего значения в мире повелевающих (грамотей на всякий случай поместился сзади всех). Но мы не имели к этому ни охоты, ни способностей. Мы просто стояли только на своем. Тогда толпа стала смелее, голоса все больше возвышались, начались шумные споры...

Положение становилось затруднительным. Мы походили на путников, отчаливших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоня, особенно в осеннее время, на три тысячи верст требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках достать и за деньги, и поэтому провизию мы тоже везли с собою. Вообще, мы физически не могли уступить, если бы и хотели, и наш путь обратился в настоящую каторгу: приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, возражения, упреки и споры... Они продолжались обыкновенно и утром следующего дня. Выезжали мы поздно, проезжали мало, и если была в этом хорошая сторона, то разве та, что таким образом мы имели случай ознакомиться с своеобразным бытом этих ленских станочников...

Ленские станки – это как бы сколок прошлых веков,

оставленный на далекой реке в нетронутым виде периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях... Это бывшие «государевы ямщики», мужики, несущие на жалованье ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным и мало населенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель, в неделю раз проскачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее. И уже совсем редко появится купец или иной партикулярный человек, следующий по собственной надобности и, значит, платящий «прогоны», в общем составляющие совершенно ничтожную цифру...

Да еще порой в эту узкую ленскую щель с юга, от Иркутска, пригонят партию арестантов и пустят ее дальше самостоятельно вниз по реке. Начальник партии уезжает вперед, а команда с арестантами растягивается на далекое расстояние. Скрыться из этой щели некуда: направо и налево за береговыми хребтами дикая таежная пустыня, населенная лишь бродячими тунгусами. Назад – уже пройденные станки, население которых, раз накормивши арестанта (своего рода натуральная повинность), в другой раз его не примет. И партия, растягиваясь иногда на неделю, спускается от станка к станку летом в лодках, зимой на дровнях, мечтая о далеком якутском остроге, как о земле обетованной. День за днем на

станки являются эти люди в серых халатах, испуганные, подавленные суровым величием этих камней и голодные. Их с проклятиями разводят по очередным избам и проклятиями же сопровождают каждый кусок подаваемого дорогого хлеба...

Наконец, порой поселенец напраказит на приисках, – тогда его снабжают «листом», и ямщики везут его до места приписки... А весной он опять спускается в лодке, чтобы через некоторое время опять катить на обывательских обратном...

В совокупности всею этого – смысл существования ленских ямщиков. Когда-то давно по реке проехали землемеры и чиновники, высматривая из лодки «места, годные для поселения», и по глазомеру определяя расстояние. Потом из разных мест России и Сибири пригнали мужиков и поселили на голых камнях. Мужики, по большей части завербованные волшебными сказками о «золотых горах», плакали и били кайлами углубления порой в сплошном камне. В ямы вставляли столбы, на столбы клали венцы и строили избы и юрты... И с тех пор они живут здесь столетия – мужики, несущие на жалованье государственную службу! Старинные «ямы» всюду давно исчезли, исчезло крепостное право во всех видах. Осталось оно только на Лене...

Выбор мест для станков, по-видимому, из «государственных видов» останавливался преимущественно на местах, совершенно неудобных для земледелия. Станочники не наде-

лены земель, и все их существование зависит от почтовой гоньбы...

Каждые три или четыре года исправники, их помощники или заседатели проезжают по станкам и заключают с ямщиками контракты «по добровольному соглашению». Для станочников это добровольное соглашение определяется тем, что без «жалованья» они перемерут голодную смертью... Целыми станками, поголовно, они будут умирать среди этих равнодушных камней, и никому до этого не будет дела... Зато, если бы они действительно отказались, почтовая служба станет, и необходимое «воздействие центра на окраину» прекратится. В ямщики нужен мужик и только мужик Варнака-поселенца, с которым пришлось бы пробираться сам-друг этими дикими камнями и ущельями, боится начальство. Якуты и инородцы, в свою очередь, боятся начальства, и было много случаев, когда при первом же окрике или ударе грозного фельдъегеря ямщики-инородцы бросали лошадей и разбегались... Ввиду этого признано, что для правильной гоньбы идет только правильный и настоящий русский мужик, искушенный в долготерпении и понимающий начальственное обращение.

На этой почве возникают отношения в высшей степени запутанные, своеобразные, а пожалуй, и безобразные. Чиновник, отравляющийся по станкам для заключения новых контрактов, прежде всего должен обеспечить гоньбу, а затем сделать это как можно дешевле, так как этим он может от-

личиться и получить награду. Поэтому в тех местах, где поблизости есть пашни и покосы, которые станочники снимают у якутов или бурят, население держится крепко, и пены за пару доходят иной раз до тысячи и более рублей. Одна из таких счастливых волостей носит даже название «дворянской». Здесь мужчины ходят в приисковых, расшитых кафтанах, собольих шапках, и молодые ямщики курят привозные папиросы «Лаферм» с золотыми орлами на мундштуках. Однажды при мне такой ямщик, которому проезжий обещал на чай, если он подаст лошадей скорее, посмотрел на него равнодушным взглядом и ответил:

– Я тебе, господин, сам, пожалуй, дам на чай, – только не езд!

И это понятно, потому что редкие прогоны, разверстываемые по душам, ничтожны сравнительно с «жалованьем» этих счастливцев.

Зато в других местах, где нет ни пашен, ни покосов, ни сторонних заработков, – цена сбивалась до трехсот и даже до двухсот шестидесяти рублей, особенно в трудные годы дороговизны хлеба и сена... Население таких бездоленных станков – наследственно угнетенное, необыкновенно печальное и явно вырождающееся. Уйти им целым обществом в переселение нельзя! Это будет уже «бунт», и начальство примет «строгие меры». Отдельных же членов своих не пустит само общество: остающиеся не желают принять от уходящего часть тяжкого бремени этой ужасной жизни.

Так и тянется забытая историей жизнь своеобразных ямщицких общин. На каждом станке должно быть столько-то пар лошадей, по столько-то за пару. Население разделяет «по душам» и почтовую повинность, и плату «Душа» ямщика – это такая-то доля лошади... В станках с меньшим населением эта доля будет больше, и на домохозяина придется половина лошади и даже целая... Где население более многочисленно, «душа» соответствует четверти, осьмой и т. д. части лошади... Разверстка этих лошадиных «душ» с лежащими на них повинностями и «жалованьем» чрезвычайно своеобразна и заслуживала бы внимания исследователя... Если лошадь пала, на ямщика навалит ее работу: он будет грести летом или таскать лодки лямкой... Если работник захворал или умер, – семья тоже вымирает медленной смертью, на которую полуголодные соседи глядят с испуганным состраданием, а камни и леса – с величавым стихийным равнодушием...

В общем, большинство этих забытых жизнью «государевых ямщиков» производят впечатление медленного вымирания. Они болезненны, бледны, печальны и хмуры, как эти берега. Свою родную реку они зовут «проклятою» или «гиблою щелью» и уверяют с полным убеждением, будто «начальники» (устанавливающие «добровольное соглашение») не верят в бога, отчего земля ни одного из них после смерти не принимает в свои недра. «Что губернаторы, что исправники, что заседатели, – все одно... Положат его в домовину, он так

скрозь землю и пойдет, и пойдет... в самые, видно, тартарары».

И с этими-то несчастными людьми мы, хитростью нашего лукавого врага, были поставлены в положение взаимной борьбы... И теперь еще я не могу вспомнить без некоторого замирания сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми, порой так глубоко несчастными и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд... Да, это была настоящая пытка...

II. Микеша

На одной из станций произошла серьезная остановка. Ямщики уперлись и, не видя с нашей стороны решительных действий, продержали нас целые сутки. К счастью, ранним утром я услышал колокольцы: кто-то проезжал на почтовых в Якутск. Пока перепрягали лошадей, я вынул свою дорожную чернильницу и бумагу и при свете камелька стал писать письмо в город, изображая наше положение. Это таинственное в глазах станочников и совершенно необычное действие произвело сильное впечатление. Ямщики входили, смотрели на меня с глубочайшим вниманием, уходили опять, и, наконец, когда письмо было готово и я собрался его заклеивать, вошел, видимо, встревоженный, староста, поклонился мне и сказал:

– Зачем писать? Не надо, пожалуйста. Повезем... Брось бумагу...

И, действительно, около полудня нам подали трех верховых лошадей. На четвертой впереди ехал хозяин-ямщик и еще сзади – вприпрыжку бежал пеший, молодой парень лет двадцати трех, придерживаясь по временам за мое стремя. Дорога на этот раз отошла от берега и пролегала тайгой; уже пожелтевшей, но еще не совсем потерявшей листву... Порой из-за верхушек деревьев мелькали вдали береговые горы и ущелья, освещенные косыми лучами осеннего солнца. Ло-

шади бежали бойко, и, когда я нарочно сдерживал свою, чтобы не затруднять бегущего, – хозяин-ямщик оборачивался и покрикивал:

– Не отставай! Не отставай!

А пеший глубоко вдыхал воздух и прибавлял шаг.

– Ничего, ничего! Ударь!.. – говорил он и, все так же держась за стремя, продолжал бежать рядом...

Это было странное существо с очень смуглым лицом и глубокими вдумчивыми глазами. Пока я писал свое письмо, он, войдя в избу, стоял рядом, не отрывая глаз от клочка бумаги, по которой бегало мое перо, выводя непонятные для него знаки. Когда этот процесс вызвал на станке суматоху и ямщики стали входить и выходить из избы с явными признаками беспокойства, – он так же внимательно следил за ними, переводя взгляд с бумаги на лица своих земляков и обратно, как бы изучая таинственную связь, установившуюся между этим листком и их настроением. По временам на лице его мелькало что-то похожее на злорадную улыбку. Когда же наконец станок уступил, – он крякнул и вздохнул так сильно, как будто это он сам только что свалил с себя тяжелую работу. В его глазах виднелось выражение восхищения, почти восторга, как будто он присутствовал при волшебном опыте, проделанном с замечательной чистотой и результаты которого он отчасти предвидел или угадывал. Когда впоследствии ямщики подняли обычные споры из-за очереди и разверстки, – он слушал этот галдеж равнодушно и отчасти на-

смешливо.

При этом как-то неожиданно вышло, что разверстка запуталась. Общество находило, что везти нас было выгоднее обычных очередей. Мы не пользовались продовольствием очередного станочника и, сколько могли, платили на чай везшим нас ямщикам. Таким образом «равнение» нарушалось, очередь становилась слишком легкой, и другим казалось обидно. Очередной ямщик горячился и спорил, находя, что это уже его «фарт», но кто-то вдруг предложил исход:

– Прибавить ему Микешу, – сказал он.

– И верно, – согласились остальные.

– Куда мне его? – протестовал хозяин.

– Ничего, – побежит пешком. Назад, однако, с четверкой трудно тебе... Помогет будто...

– И верно. А ты, значит, ему за четь... Оно и выйдет вровень...

– Много...

– Чего много?.. Надо тоже и ему как-ни-набудь... хоша бы и Микеше...

Микеша слушал эти разговоры с таким равнодушием, как будто речь шла совсем не о нем. Из разговоров я понял, что его считают несколько «порченным». Хозяйство после смерти отца и матери он порешил, живет бобылем-захребетником, не хочет жениться, два раза уходил в бега, пробираясь на прииски, и употребляется обществом на случайные междуочередные работы или, как теперь, в качестве некоторого

привеска, для «равнения»...

Теперь этот живой привесок общинных весов бежал рядом с нами, держась по большей части у моего стремени, так как я ехал последним. Когда мы въехали в лес, Микеша остановил меня и, вынув из-под куста небольшой узелок и ружье, привязал узелок к луке седла, а ружье вскинул себе на плечо... Мне показалось, что он делает это с какой-то осторожностью, поглядывая вперед. Узел, очевидно, он занес сюда, пока снаряжали лошадей.

Вскоре впереди, между перелесками, послышался звон колокольцев, и, растянувшись длинным караваном с переметными сумами в седлах, мимо нас пробежала встречная почта. Передовой ямщик наш проводил ее разочарованным взглядом – очевидно, он надеялся приехать на станцию раньше и заодно на обратном пути захватить часть почты на свою четверку. К одной выгодной очереди он, таким образом, присоединил бы и другую, выгодную уже для всего станка. Микеша посмотрел на его разочарованную фигуру и свистнул.

– Гляди, умные наши станочники, – сказал он с насмешкой. – Не спорились бы вчера, как раз бы успели... Четыре лошади не гоняли бы зря...

Очевидно, неудача станочников его не касалась и будила в нем лишь некоторую ироническую наблюдательность...

– Ну-ну! Сам умнай! – со злостью ответил ему ямщик. – Обчество учить станешь... – И он хлестнул опять свою лошадь, выбираясь на дорогу...

После этого мы поехали легкой рысцей, и Микеша вздохнул свободно. Верст уже десять он пробежал, не отставая от рыси лошадей, но, видимо, это скороходное искусство, созданное привычкой с детства, не давалось ему даром. Лицо его слегка побледнело, на лбу были крупные капли пота.

Теперь он не торопясь шагал рядом, все так же держась за мое с гремя, и закидал меня вопросами. На мои расспросы о жизни ямщиков он отвечал неохотно, как будто этот предмет внушал ему отвращение. Вместо этого он сам спрашивал, откуда мы, куда едем, большой ли город Петербург, правда ли, что там по пяти домов ставят один на другой, и есть ли конец земле, и можно ли видеть царя, и как к нему дойти. При этом смуглое лицо его оставалось неподвижным, но в глазах сверкало жадное любопытство.

Эта кипучая жадность, горевшая во взгляде молодого станочника, произвела на меня странно возбуждающее действие, и я неожиданно для себя разговорился. Казалось, горы, нас окружавшие, раздвинулись, я заглянул далеко за них и почти бессознательно старался дать заглянуть туда и этому наивному станочнику. Товарищи уехали вперед, покрякивания передового ямщика смолкли, кругом нас тихо стоял лесок, весь желтый, приготовившийся к зиме, а из-за его вершин выглядывали верхушки скал, на которых угасали последние лучи дня.

Через некоторое время дорога вышла из лесу и направилась через опушку к реке. На другой стороне, казалось, со-

всем близко, стояли стеной скалы, изломанные, причудливые, мертвые, с трещинами, выступами, ущельями... А под ними, убегая вдаль, струилась темная река.

Зрелище было полно такой глубокой и такой красивой печали, что я невольно остановил лошадь. Микеша тоже остановился и с удивлением посмотрел на меня.

– Что стал? – спросил он.

– Хорошо очень, Микеша, – ответил я с невольным восхищением, не отрывая глаз от освещенного косыми лучами горного берега.

– Хорошо? – переспросил он все так же удивленно и прибавил с глубоким убеждением на наивно-изломанном наречии средней Лены: – Нет! Белом свете хорошо. За горами хорошо... А мы тут... зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...

Впереди из-за куста выглядывал полосатый казенный столб, полинялый и наклонившийся. Его-то, очевидно, и разумел Микеша под «пестрой столбой». В голосе его слышалось столько глубокой грусти, что мне стало вдруг не по себе, как будто я был виноват в чем-то. Зачем я только что с таким увлечением рассказывал ему о далекой стране, куда мы едем? Пройдет месяца два или три, и я буду там, в этом широком белом свете, а этот странный молодой станочник с глубокими черными глазами все равно останется здесь, у своей «пестрой столбы», среди этих красивых, но мертвых и бесплодных камней, над пустынной рекой.

После этого с версту мы проехали молча. Лучи на камнях угасали, в ущельях залегали густые сумерки, насыщенные туманами, которые в Сибири называют красивым словом «мороки». В воздухе быстро свежело. Шаг лошади гулко раздавался по перелескам.

– На Титаринском станке опять, видно, писать будешь? – спросил Микеша, с любопытством поднимая на меня свои наивные глаза.

– Зачем? – спросил я, несколько удивленный.

– Не дадут лошадей, – пояснил он. – Титаринские станочники – не народ, а дьявол. Не пишешь – не дают, пишешь – боятся. Пиши! Я смотреть буду...

– Не отставай! Не отста-ва-ай! – донесся издалека протяжный окрик передового ямщика.

– Ударь, – сказал Микеша. – Ночь придет...

Я тронул лошадь поводом, но, пробежав несколько сажень, она вдруг шарахнулась в сторону, так что я едва усидел. Впереди на дороге, прямо перед нами, стояли на коленях две человеческие фигуры.

– Батюшка, кормилец... ваше сиятельство!.. – услышал я два гнусавых, лицемерно жалобных голоса. – Не дай пропасть душам христианским...

– Ва-ш-ше высоч-чество! – подхватил другой. – Помираем... Обносились, оголодали...

– Бродяги, – спокойно сказал Микеша, остановившись у моей лошади и с обычным своим внимательным любопыт-

ством присматриваясь к приемам бродяг и к тому действию, какое они окажут на меня... Вид у бродяг был действительно ужасный, лица бледные, в голосах, деланно-плаксивых и скулящих по-собачьи, слышалось что-то страшное, а в глазах, сквозь заискивающую и льстивую покорность, настораживалось вдруг что-то пристально высматривающее и хищное.

Я дал серебряную монету и вынул кусок хлеба из переметной сумы. Оба схватились за хлеб, и в голосах их послышалась радостная благодарность. Отъехав на некоторое расстояние, я заметил, что Микеша остановился и дружелюбно, как с знакомыми, беседует с варнаками. Впрочем, через несколько минут он опять присоединился ко мне.

– Сколько дал? – спросил он у меня и, получив ответ, прибавил: – Хитрый варнак. Глаза закатит – слепой делается, ногу подогнет – хромой делается... Одного в лесу встречает тебя – горло перервет, пожалуй. А тут ногам кланяется.

– Ты их знаешь?

– В тайге встречал, чай варили... Этот Иван – умнай, беда! Говорит: царю помогал, деньги делал. Не знаю – правда, не знаю – хвастает... В остроге много сидел.

И, пройдя еще несколько сажень, он прибавил задумчиво:

– В остроге человек много сидит, умнай бывает...

Он вздохнул... Мы опять ехали под скалами, и лицо его мне было видно довольно плохо в вечернем сумраке. Но в его голосе слышались ноты такого же почтительного удивления к острожникам, какое он выказывал по поводу моего

писания...

Через полчаса стало уже совсем темно. Вверху угасали еще в синем небе последние отблески заката, но в затененной ленской долине стояла тьма... Вдруг мой спутник издал легкий гортанный крик удивления и вскочил сзади на круп моей лошади.

– Гони! Скорей! – сказал он.

– Что такое?

– Огонь! Слепой ты, что ли?

Действительно, взглядевшись в темноту, я заметил впереди слабые отблески переливавшегося, как дыхание, огня... Горело где-то в стороне, в ущелье...

– Островский горит, поселенец, – сказал Микеша, всматриваясь вперед и усиленно колотя по бокам лошадь пятками своих торбасов.

Через несколько минут лошадь тяжелой рысью вынесла нас двоих к повороту дороги, и здесь из-за возвышенности перед нами открылось направо широкое ущелье. В глубине его, на отлогом скате горы виднелось догоравшее пожарище. Языки пламени еще вырывались из обугленной кучи бревен, и довольно резкий ночной ветер, дувший из пади, тихо колебал стлавшийся по земле беловатый дым. Какой-то человек то и дело мелькал черным силуэтом на фоне пламени и, как мне показалось, кидал что-то в огонь. Невдалеке виднелось еще несколько фигур, конных и пеших, стоявших в некотором отдалении неподвижно, в роли праздных зрителей...

Передовой ямщик успел съездить туда и теперь выехал опять на дорогу. Он сказал Микеше несколько слов по-якутски и хлестнул лошадь. Опять прежний звук, выразивший не то удивление, не то радостный восторг, раздался за моей спиной...

– Ча! – крикнул Микеша. – Погляди ты, какие люди бывают: сам юрту зажигал, амбар зажигал, городьбу, что есть, в огонь бросал... У-у, дьявол!

– Кто это?

– Да кто иной: Островский, говорю, униат...

И Микеша с интересом и оживлением стал рассказывать мне историю этого пожара.

Она была проста и сурова, как эти берега и горы. Несколько лет назад униат Островский был выслан, кажется, за отпадение от православия и поселен на Лене. За ним пришла молодая жена с маленькой девочкой. Якуты отвели ему надел в широкой пади, между двумя склонами. Место показалось удобным для земледелия, якуты оказали некоторую помощь. Сравнительно нетрудно было сбывать хлеб на прииски, и Островский бодро принялся за работу. Якуты не сказали ему одного: в этой лощине хлеб родился прекрасно, но никогда не вызревал, так как его уже в июле каждый год неизменно убивали северо-западные ветры, дувшие из ущелья, как в трубу, и приносявшие ранний иней. Якуты, не желающие вообще поселенцев на своих землях, имели свои вилы, а соседи-станочники, арендовавшие у якутов покосы и поэто-

му зависимые, тоже не предупредили поляка, боясь рассердить якутов.

Первые годы Островский приписывал свои неудачи случайности и, глядя на необыкновенно буйные урожаи, все ждал, что один год сразу поставит его на ноги. И он убивался над работой, голодал, заставил голодать жену и ребенка, все расширяя свои запашки... В этом году лето опять дало одну солому, а осенью измученная горем жена умерла от цинги.

Островский вырыл могилу, без слез уложил жену в мерзлую землю и заровнял ее... Потом он взял билет на прииски и пособие у якутов на дорогу. Якуты охотно дали то и другое в расчете избавиться от поселенца и воспользоваться его домом и кое-каким имуществом. Но Островский обманул эти наивно-хитрые ожидания: он снес все имущество в избу и зажег ее с четырех концов. Этот-то пожар мы и видели теперь, проезжая мимо. Роковой ветер из ущелья раздувал пламя, пожиравшее пять лет труда, надежд, усилий и жертв...

– Все зажигал! В один раз кончил, – заключил Микеша свой рассказ и потом спросил по-своему вдумчиво: – Униат... Что такое униат?... Какой человек бывает?

– Вера такая, – ответил я.

– То-то. И он говорит: вера. В одну церковь сам не идет, в другую не пускают. Чего надо?..

Я не знал, как объяснить ему. Мне казалось, что для этого нет слов, понятных Микеше, и некоторое расстояние мы проехали молча среди темной и притихшей тайги... Потом

он легко соскочил с лошади и пошел рядом, несколько впереди, заглядывая мне в лицо.

– Другие люди на белом свете, – сказал он серьезно, – вздорят за веру... Есть скопец, есть духобор, есть молокан... Много их мимо нас гоняли. За веру своей стороны лишаются... А у нас никакая церковь нету... Лесине хочешь молишь, никто не спросит...

Я молчал. Над горами слегка светлело, луна кралась из-за черных хребтов, осторожно окрашивая заревом ночное небо... Мерцали звезды, тихо веял ночной ласково-свежий ветер... И мне казалось, что голос Микеша, простодушный и одинаково непосредственный, когда он говорит о вере далекой страны или об ее тюрьмах, составляет лишь часть этой тихой ночи, как шорох деревьев или плеск речной струи. Но вдруг в этом голосе задрожало что-то, заставившее меня очнуться.

– Другие говорят... никакой бог нету, – говорил Микеша, стараясь в сумерках уловить мой взгляд... – Ты умной, бумага пишешь... Скажи, может это быть?..

– Не может быть, Микеша, – ответил я с невольной лаской в голосе.

Он вздохнул, как мне показалось, с облегчением.

– Не может быть!.. Враки! – подхватил он убежденно. И, подняв глаза к темным вершинам береговых гор или к холодному небу, красиво, но безучастно сиявшему своими бесчисленными огнями, и как бы отыскивая там что-то, он при-

бавил: – Хоть худенький-худой, ну, все еще сколько-нибудь делам-те правит.

Теперь я невольно наклонился с седла, стараясь поймать взгляд человека, только что и так изумительно просто исповедавшего странную веру в «худенького бога». Была ли это ирония?.. Или это было искреннее выражение как бы ущербленной и тоскующей веры, угасающей среди этих равнодушных камней?..

Луна совсем поднялась над суровыми очертаниями молчаливых гор и кинула свои холодные отблески на берег, на перелески и скалы... Но лицо Микеша было мне видно плохо. Только глаза его, черные и большие, выделялись в сумерках вопросительно и загадочно...

– Не отста-вай, не отста-ва-ай!.. Ночь пришла-а! – слышалось издалека, из глубины таинственной и сумеречной дали...

III. Отчаянный человек на Титаринском станке

Предсказание Микеша сбылось: на Титаринском станке опять не признали нашу «бумагу», и опять целый день мы провели без движения в избе очередного станочника. В середине этого дня уехал обратно наш прежний ямщик. К его, а отчасти и моему удивлению, Микеша не последовал за ним, а остался на станке. Ямщик звал его, ругался, грозил даже, но Микеша молча сидел на лавке, потупившись, с видом безнадежного упрямства. Когда ямщик наконец увязал гусем всю четверку и, сев на переднюю лошадь, еще раз крикнул Микешу, тот только махнул рукой и ответил:

– Не еду я!.. – И потом, повернувшись ко мне, спросил: – Писать будешь? Пиши, пожалуйста.

Но писать мне на этот раз не приходилось: почта пробежала вчера, проезжающих не было, и до следующей почты у титаринцев времени было слишком много, чтобы испытать наше терпение. Оставалось сидеть в избе, бродить с тоской по берегу Лены и ждать счастливого случая.

К вечеру на станке появился вдруг «униат» Островский. Это был человек небольшого роста, коренастый, с сильно загорелым энергичным лицом настоящего земледельца. На плечах он нес несколько связанных вместе узлов, образовав-

ших целую гору, а за полу его суконного кафтана держалась девочка лет восьми или девяти, тоненькая, бледная и, видимо, испуганная. Я встретил его на площадке и сразу угадал, кто это: в глазах у него как будто застыло охладевшее тяжелое горе. Станочники робко оглядывались при встрече с этим человеком, в несчастье которого станок чувствовал и свою долю, хотя и пассивного, участия.

Он спросил очередную избу и вошел в нее вслед за мною. Не скидая шапки и не здороваясь, он сбросил на лавку свою ношу и сказал грубо:

– Ну, хозяйева, принимайте гостя. Чайник, лепешку, живо!

– Вот он какой... униат, – сказал мне Микеша, тотчас же принявшийся наблюдать суетню оробевших хозяев... Наш чайник был уже готов, и мы пригласили Островского разделить с нами наши дорожные запасы. Но он осмотрел нас с холодным вниманием и, составив какое-то заключение, ответил решительно и сурово:

– Нет, вы люди дорожные... А с ними я все равно сосчитаюсь, – прибавил он с усмешкой, кивая в сторону хозяев. – Ну, живее, что ли! Пададь!

– Позвольте хоть девочку напоить чаем.

Он посмотрел на нее, поколебался и потом сказал дочери:

– Садись с ними... Да мне только для нее и нужно... Самому и кусок в горло не пойдет.

В последних словах прозвучала горечь и как будто усталость. Свои дальнейшие планы, на наш вопрос, он изложил

с холодным лаконизмом:

– На прииски иду... Если дорогой не пропаду, наймусь...

А девчонку стану господам продавать...

Я с ужасом взглянул на него, стараясь разглядеть в суровом лице хоть что-нибудь, что выдало бы неискренность его слов. Но его лицо было просто пасмурно, слова звучали резко, как холодные льдины во время ледохода... А девочка ласково прижималась к нему, и грубая рука, может быть, механически гладила ее волосы...

– Как же вы доберетесь с девочкой до приисков? – спросил я.

– В лодке, – ответил он сухо.

– У тебя, Островский, разве есть ладья? – вкрадчиво спросил хозяин избы.

Островский уставился в него своим тяжелым, холодным взглядом.

– Мало, что ли, лодок на берегу?... – ответил он. – Возьму любую...

– Так то ведь наши, – наивно сказал станочник, и, видя, что Островский только усмехнулся, он как-то робко поднялся и вышел из избы.

После этого на площадке, освещенной луною, собрались станочники, и даже в нашу юрту долетали их шумные разговоры. Станок жужжал, как рой обеспокоенных пчел... По временам ямщики поодиночке входили в избу, здоровались, переминались у камелька с ноги на ногу и смотрели на при-

шельца, как бы изучая его настроение. Островский не обращал на все это ни малейшего внимания... Он сидел, согнувшись, на лавке, против огня; по временам клал в камелек полено и расправлял железной кочергой угли...

Проснувшись среди ночи, я увидел его в той же позе. Слабый огонек освещал угрюмое лицо, длинные, опущенные книзу усы и лихорадочный взгляд впалых глаз под нависшими бровями. Девочка спала, положив голову ему на колени. Отблеск огня пробежал по временам по ее светлым, как лен, волосам, выбившимся из-под красного платочка. Кроме Островского, в юрте, по-видимому, все спали; из темных углов доносилось разнотонное храпение...

Девочка потянулась и заплакала.

– Спи! – сказал отец угрюмо. – Ночь еще...

Она всхлипнула как-то горько и спросила сонным голосом:

– Куда пойдем?..

– Ага! – с злобной горечью ответил про себя Островский. – Когда бы я сам знал... К дьяволу, верно... Больше некуда...

– Куда? – громче спросила девочка, но сон брал свое, усталое тельце снова съезжилось, и она стала засыпать.

– Ку-да?.. Куда-а? – еще раз два прошептали сонные губы, и, не дождавшись ответа, она заснула.

Сквозь стены доносилось к нам жужжанье голосов. Я протер запотелое оконце и глянул наружу.

Ночь сильно изменилась... Луда поднялась высоко над горами и освещала белые скалы, покрытые инеем лиственницы, мотававшиеся от ветра и кидавшие черные тени. Очевидно, после полночи ударил мороз, и вся каменная площадка побелела от инея. На ней черными пятнами выделялась группа людей... Станочники, очевидно не ложившиеся с вечера, обсуждали что-то горячо и шумно.

Потом группа ямщиков медленно направилась к нашей юрте. Дверь скрипнула, ворвался клуб холодного воздуха... Ямщики один за другим входили в избу, подходили к камельку, протягивали руки к огню и смотрели на Островского. Тот как будто даже не замечал их...

После всех вошел седой старик. Очевидно, его сняли с теплой лежанки собственно для этого случая. Волосы у него были белые, как снег, редкие усы и борода тоже. Рука, опиравшаяся на длинную палку, дрожала. Под другую руку его поддерживал молодой ямщик, вероятно, внук.

– Здравствуй, брат! – сказал он слегка дрожащим по-старчески, но приятным и каким-то почтенным голосом.

– Здравствуй, дед, – ответил Островский, не поворачиваясь. – Зачем слез с печи?

– Да, дело старое, – вздохнул старик и потом спросил политично: – На прииски собрался?

– Ну, на прииски. Так что?

– Добро... Как пойдешь с девочкой?

– В лодке.

– Где возьмешь?

– У вас...

– Дорогой чем девку кормить станешь?

– Хлебом.

– Где возьмешь?

– Вы дадите... Пуд муки и кирпич чаю!..

Среди ямщиков послышался негодующий говор. К камельку протискался между тем Микеша, и мне с моего места было видно его заинтересованное лицо. Черные глаза переходили с мрачной фигуры Островского на почтенного станочного патриарха.

Тот покачал головой. Островский посмотрел на него, усмехнулся и сказал:

– Ну, говори, старый хрыч!

– Буду говорить, – сказал старик. – Я, старый человек, могу тебе сказать. А ты, молодой, послушай. У тебя, Матвей, изба была ведь?

– Была.

– Что ты с нею сделал?

– Спалил, чтоб собакам якутам не досталась.

– Твое дело. У тебя добро тоже было... Где оно?

– С дымом улетело.

– Пошто с дымом пустил? Огонь съел, спасибо не сказал.

Мы тебе соседи. Пришел бы к нам... Возьмите, дескать, что осталось. Сбруя, телега, два хомута, дуга хорошая, стол, четыре лавки... Вот и добро было бы. Ты бы до нас, мы до те-

бя...

– Не надо! Все спалил, чтоб и вам не досталось.

– Ну, спалил, твое дело. Зачем теперь к нам пришел?

Островский посмотрел на старика прищурившись.

– Ты не знаешь, зачем я пришел?.. Сосчитаться с вами пришел. Давайте лодку, давайте хлеба... Дешево прошу... Смотрите, не обошлось бы дороже...

– Иди, у огня проси... – ответил старик, сердито стукнув клюкой. – Огню все отдал, у него и проси. Нам не давал, как теперь просишь? Негодяй!

Эта ясная логика и твердый тон пришлись, очевидно, по вкусу ямщикам. По всей избе пошел одобрительный говор. Но Островский только сверкнул глазами и с внезапной яростью ударил кочергой по дровам. Пук искр метнулся в трубу камелька... Ямщики дрогнули; ближайшие попятились.

Девочка, разбуженная резким движением, проснулась и села на скамье. Островский не обратил на нее внимания.

– Вот так, – сказал он с дикой энергией, – пошло все мое добро... Видели, как хорошо горело вчера ночью?

Он повернулся и посмотрел на замолкшую толпу ямщиков упорным и злым взглядом.

– Своего не пожалел... Думаете – ваше пожалею?

В толпе опять послышался ропот. Микеша тяжело перевел дух.

– Нас, смотри-ка, много, – сказал сзади чей-то задорный голос.

Островский посмотрел туда и отвернулся опять к огню.

– Убейте, – сказал он спокойно. – И меня, и девку... Мне все одно. А не убьете, – давайте хлеба, давайте лодку... И с парусом...

– Еще с парусом ему!.. – зароптали ямщики.

Старик стукнул палкой об пол и, когда водворилось молчание, сказал:

– Слушай, Матвей. Я тебе еще скажу слово, ты послушай.

– Говори, мне все одно, что ветер.

– Ты сюда за что прислан?.. За веру?

– Забыл, – угрюмо ответил Островский.

– В господа бога веруешь? – торжественно сказал станочный патриарх, глядя ему в лицо.

– Не знаю, – ответил Островский и вдруг поднялся со скамьи. Ямщики шарахнулись прочь, тесня друг друга. – Слушай, – сказал Островский, отчеканивая слова. – Слушай и ты меня, старая со-ба-ка...

– А-ха! – охнул внезапно Микеша при этом тяжком оскорблении станочного патриарха. Ямщики смолкли. Несколько мгновений слышно было только легкое потрескивание огня в камельке.

– Помнишь ты, – продолжал Островский, – как я в первый раз приходил к тебе с женой, как я кланялся твоим седым волосам, просил у тебя совета?.. А-а! ты это позабыл, а о боге напоминаешь... Собака ты лукавая, все вы собаки! – крикнул он почти в исступлении, отмахнувшись от девочки, ко-

торая, не понимая, что тут происходит, потянулась к отцу. – Вы – дерево лесное!.. И сторона ваша проклятая, и земля, и небо, и звезды, и...

Он остановился, и в потемневшей избушке опять водворилось молчание, полное тяжелой подавленности и испуга... Островский опустил на скамью, тяжело переводя дыхание, с искаженным, почти неузнаваемым лицом... Через несколько мгновений оно все передернулось неприятной гримасой, отдаленно напомнившей улыбку, и он насмешливо сказал старику:

– Ну, скажи еще что-нибудь...

– Нечего с тобой и говорить, с отчаянным, – ответил старик грустно и как-то сконфуженно повернулся к выходу. Станочники молча расступались, но вид у патриарха был приниженный и жалкий... Микеша прошел за камельком и, тихо сев рядом со мной, сказал после короткого молчания:

– Слышал?.. А? Как он его... Евстигнея Прокопича... Собака ты, говорит... А-ай-а-ай! Теперь, гляди, станочники все дадут. Побоятся... Чистой дьявол...

– Уни-ат, – прибавил он в раздумье, покачивая головой, как будто в этом малопонятном слове заключалась загадка странного могущества Островского...

Ямщики один за другим в глубоком молчании выходили из избы...

Вскоре, столпившись на той же площадке, они зажужжали и заспорили снова... Микеша угадал: ямская община, нрав-

ственно побежденная в лице патриарха, уже сдалась, станочники наметили старую лодку с оборванным парусом, оценивали ее и разверстывали по душам этот непредвиденный расход... Станок, очевидно, спешил избавиться от человека, который дошел до того, что уже не дорожит ничем и ничего не боится.

Островский все еще сидел на лавке. Потом он оглянулся по опустевшей избе, и его взгляд встретился с моим. Глаза его, еще недавно горевшие, теперь были совершенно тусклы и неприятно, как-то матово отсвечивали под слабым огнем камелька.

– Ха! – сказал он, продолжая глядеть на меня этим тяжелым взглядом. – За веру!.. Бога вспомнили... Давно это было... Не хотел ребенка хоронить на православном кладбище... Теперь жену зарыл в яму, завалил камнями, без креста, без молитвы... Лес, камни... и люди, как камни...

Он провел рукой по лицу и, как будто отряхнувшись, заговорил спокойнее и с насмешкой:

– Я бьюсь, голодаю, жду... В конце лета приходит мороз, и кончено... И если бы я работал до Судного дня, – было бы все то же. А они знали... И никто не сказал, ни одна собака!..

– Врешь, Островский, – послышался вдруг около меня голос Микеша. – Я тебе говорил...

Островский пристально всмотрелся и увидел говорившего.

– А, это ты, Микеша... Верно, – ты говорил, да я не по-

слушал, потому что ты полоумный... А умные говорили другое...

При слове «полоумный» я невольно взглянул на Микешу. Он сидел, опустив голову, лица его не было видно, но он не сказал больше ни слова...

Через час, когда Островский напился, как ни в чем не бывало, чаю вместе с хозяевами, а мы напоили его девочку, пришел молодой ямщик, принес в мешке муку и сказал, что лодка для Островского выбрана.

Меня поразило благодушное выражение голоса этого ямщика. Очевидно, раз общество решило, – ему уже не было дела до того, каким путем была отвоевана эта лодка... Ее приходилось еще чинить, но так как до берега было не близко, то Островский собрался совсем. Он заботливо одел девочку и взвалил на плечи свои узлы. Мы дали девочке сахару, белого хлеба и несколько серебряных монет. Она вопросительно посмотрела на отца. Он не сказал ни слова, не поблагодарил, даже не посмотрел в нашу сторону, но и не помешал ребенку сунуть все полученное в небольшую котомку. Лицо его оставалось все так же холодно и решительно. Уходя, он сказал только:

– Прощайте, господа! Вас они тоже повезут... В лодке не соглашайтесь... Повезут, подлецы, и на лошадях.

И, повернувшись на пороге, он прибавил:

– Бейте по морде... Тогда доедете скоро...

Затем он вышел, ведя девочку за руку.

Я посмотрел за ними в окно. Долгая осенняя ночь чуть-чуть бледнела, но луна все так же светила с вышины, так же дул предутренный ветер, так же качались и бились лиственницы под большой скалой, так же мелькали по инею отблески и тени. Только теперь к этому мельканию прибавились три человеческие фигуры. Впереди шел молодой ямщик, сзади – нагруженный Островский и рядом с ним девочка. И на белой равнине за ними следовали черные тени: одна огромная и уродливая, другая тоненькая и как будто готовая растаять среди этого холода и камней...

IV. По реке

По-видимому, раз уступив Островскому, станок как бы потерял силу сопротивления, и это послужило нам на пользу. Утром в избу вошел незнакомый нам ямщик, небольшой, коренастый, с беспокойно бегающими глазами. Он помолился на образ и, не глядя на нас, спросил:

– Чего думаете делать?.. Общество лошадей не дает.

– А тебе что нужно?

– Да я об вас хлопочу. В лодке, пожалуй, ямщики согласятся.

– Ну, в лодке, так в лодке.

Маленькие глазки ямщика радостно сверкнули.

– Значит, согласны? – прорвалось у него восклицание, и он быстро направился к двери. Отворив ее, он повернулся и сказал: – Микеша, подь-ка сюда... Говорить надо.

Через час мы уже были на берегу реки. Солнце поднялось над горами и сгоняло иней, еще лежавший в тени. Холод начинал уступать перед солнечными лучами, но в заливчиках и затолах держались еще льдистые иглы...

Подходя к берегу, мы с удивлением увидели, что к лодке подходит также Микеша. На одном плече он нес весла, на другом висела винтовка, в руке у него был узелок, который он тщательно спрятал в ящик на корме.

Проделав все это, он посмотрел на меня как будто укориз-

ненным и слегка пренебрежительным взглядом.

– Зачем не писал? Лошадям ехал бы... Дальше тоже лошадей давали бы... Лодкой худо... Когда доедешь?

Мы, очевидно, много потеряли в его глазах, так легко согласившись ехать в лодке, тем более что станок, в сущности, уступил бы, и мы стали жертвой хитрости старого ямщика. У него пала лошадь, и он отправлял свою долю повинностей греблей. Поэтому он стоял на сходе за то, чтобы нас везти, но непременно в лодке, – таким образом ему выпадала сравнительно легкая очередь. Общество сомневалось, согласимся ли мы тащиться сорок пять верст против течения, когда дорога еще допускала более удобный и скорый способ передвижения. Старый ямщик взялся уговорить нас и теперь, к явному разочарованию Микеша, торжествовал легкую победу...

– У-у! хитрой ямщик, – говорил он, глядя с улыбкой на торопливо бежавшего по берегу старика... По-видимому, «хитрой ямщик» боялся, что мы еще можем раздумать...

Но мы беспрекословно уселись в широкую лодку, старик двинул ее багром, а Микеша толкал с носа, шлепая по воде, пока она не вышла на более глубокое место. Тогда и Микеша вскочил в нее и сел в весла.

Не успели мы обогнуть небольшой мысок, как от станка к берегу подбежала девочка и кинула нам с деревянных мостков узелок.

– Что это? – спросил я.

– Ничего, ничего, так, посылка... – ответил старик.

– Хлеб, чайник... – пояснил Микеша. – На острове чай пить будем. Далеко...

Старик сердито посмотрел на него: он уверял, что до захода солнца мы уже будем на станке, и боялся, что разоблачение Микеша еще может изменить наше решение. Он открыл дверку ящика, чтобы сунуть туда свой узелок, и остановился с удивлением, видя, что место занято. Мне показалось, что Микеша, в свою очередь, смутился, когда старик нащупал рукой в его узелке сапоги.

– Это что? – спросил старик, пытливо глядя на Микешу. – Сапоги взял, барахло взял, винтовку взял... Смотри, Микеша, опять, видно, дуришь хочешь...

Микеша не ответил и только крепче налег на весла, так что они застонали в ключичинах... Лодка взмыла вперед, под килем забились и зажурчали ленские волны. Высокие горы как будто дрогнули и тихо двинулись назад... Темные крыши Титаринского станка скоро потонули за мысом.

День обещал быть теплым. Ветер стих, речная гладь едва шевелилась, и широкие, пологие волны лишь тихо колебали, не взламывая, зеркальное отражение скал. Горы противоположного берега казались совсем близко, и, только пристально вглядываясь в подробности, можно было заметить, что это обман зрения: овраги представлялись извилистыми трещинками, а огромные лиственницы на склонах – былинками...

Наша лодка, тихо покачиваясь, шла точно по водяной аллее. По временам, будто кинутый чьей-то невидимой рукой, из-за гор вылетал черной точкой орел или коршун и плавно опускался к реке, проносясь над нашими головами. Порой где-то в воздухе раздавался торопливый перезвон птичьей стаи, но глаз не мог различить ее на пестром фоне лесистых скал, пока совсем близко в воздухе не пролетала стремительно горсточка черных точек, торопясь, свистя крыльями, погоняя друг друга и тотчас же сливаясь с пестрым фоном другого берега. Только серые бакланы неторопливо, деловито держались по следу нашей лодки, то припадая грудью к воде, то трепыхая на месте крыльями и погружая в воду тонкие красные лапки.

Порой дорогу нам загораживала далеко вдавшаяся в реку отмель... Тогда Микеша входил беззаботно в холодную воду, иногда по пояс, и тащил лодку лямкой.

– Гляди, вон там, под горой, Островский идет, – сказал мне ямщик, указывая вдаль. Вглядевшись пристально в пеструю полоску другого берега, я действительно увидел на воде тихо двигавшуюся лодочку, а по камням, часто теряясь между ними, двигалась, как муравей, черная точка. Это Островский тащил лодку лямкой.

Плес был прямой, и долго я видел впереди эту точку, пока бессонная ночь и утомление не взяли свое и я заснул под мерное взвизгивание уключин. Оба мои спутника тоже давно спали на дне широкой лодки.

Когда я проснулся, то сразу заметил, что кругом что-то изменилось. Микеша торопливо шлепал по воде, таща лямку, старик правил рулем, и лодка, круто забирая волну, перерезывала широкую курию (залив), направляясь к середине реки. В воздухе посвежело, берега как будто прижмурились, лица ямщиков были озабочены, движения торопливы.

– Сядь-ко к рулю, скорее будет, – сказал мне старший ямщик, заметив, что я проснулся. – Держи вон туда, на остров, – прибавил он, указывая на едва заметную полоску земли, как будто прижавшуюся к самому берегу на другой стороне, но оказавшуюся впоследствии большим островом на самой середине реки. Я сел к рулю, Микеша, разбрызгивая холодную воду, взобрался в лодку, и она понеслась на перерез течения.

– Халан (снеговая туча) придет, – пояснил старик. – Авось еще на остров поспеем.

Я не видел никакой тучи. Лодка наша торопливо удалялась от одного берега, но другой как будто не приближался, и река, имеющая здесь около шести верст в ширину, только раздвигалась перед нами, как море. Вверх по течению широко разлившаяся водная гладь почти сливалась с золотом близкого заката, и только туманная синяя полоска отделяла воду от неба.

Все было светло, задумчиво, спокойно.

– Где же туча? – спросил я, удивленный тревожной торопливостью ямщиков. Старик не ответил. Микеша, не переста-

вая грести, кивнул головой кверху, по направлению к светлому разливу. Вглядевшись пристальнее, я заметил, что сияющая полоска, висевшая в воздухе между землею и небом, начинает как будто таять. Что-то легкое, белое, как пушинка, катилось по зеркальной поверхности Лены, направляясь от широкого разлива к нашей щели между высокими горами.

– Работай, работай! – поощрял старик, сам с усилием налегая на весла.

По лицам ямщиков катились крупные капли пота, руки напрягались... Лодка неслась, как стрела, остров заметно отделялся от противоположного берега.

– Не поспеть, – сказал старший, повернув озабоченное лицо в сторону все мутневшей дали...

– Не сдавай книзу, смотри! Как бы не миновать острова...

Я повернул лодку и сразу почувствовал, что ее колыхнуло сильнее, приподняло и в бока ударила торопливая, тревожная зыбь... Бежавший перед тучею охлажденный ветер задул между горами, точно в трубе. От высокого берега донесся протяжный гул, в лицо нам попадала мелкая пыль водяных брызгов, между берегом и глазом неслась тонкая пелена, смывавшая очертания скал и ущелий...

– Ну, запылит теперь, – сказал старик, – держи, смотри, потверже, помни, где остров.

С гор несся уже протяжный шум лиственниц, и скоро к нему присоединился плеск прибоя. Некоторое время было видно, как берег весь побелел от пены. Но вскоре все это

стало исчезать... По всей реке запорхали белые снежинки, ложившиеся на темные волны. Они становились все гуще, заволакивая сначала дальние уступы, потом ближние скалы, потом самый обрез берега... Птичьи голоса смолкали, жизнь, казалось, уходила с реки... Только чайки вскрикивали еще нервно и отрывисто, кидаясь навстречу ветру, гнавшему тучу и сгущавшему ее между высокими горными берегами... Некоторое время сквозь эту пелену еще доносился шум лиственниц, потом смолк и он, как будто задавленный густым снегом; ветер тоже стихал...

Один из моих товарищей, крепко спавших на дне лодки, проснулся от этой тишины, поднялся и, протирая глаза, спрашивал с удивлением:

– Что такое? Где мы?

Кругом стало однообразно, бело, спокойно, и только миллионы снежинок, больших, плоских, пушистых, порхая и кружась, сыпались на воду, на весла, на лодку, на лица гребцов. Скоро края лодки, лавки, одежда побелели под толстым слоем снега.

Ямщики сложили весла и тяжело перевели дыхание... Кругом стояла будто белая стена, а на небольшой площадке воды у самой лодки густо валились белые хлопья, таявшие в воде и тотчас сменявшиеся другими...

– Что же, надо все-таки грести к острову, – сказал я.

– А где он, остров? – ответил насмешливо старший ямщик.

Действительно, определить направление было трудно. Лодка, покачиваясь, казалось, стоит на месте на небольшом темном кружке воды, окруженном белою непроницаемую стеною. Но вдруг Микеша наклонился, протянул весло и вытащил из воды таловую ветку с неопавшими еще листьями.

– Остров близко, – сказал он, там...

Через минуту из белого тумана опять показались очертания, и мимо нас проплыло целое деревцо, очевидно, только что оторвавшееся с крутояра, оставляя за собой глинистый след еще не обмытых корней. Ямщики бодро ударили в весла...

Прошло с четверть часа, и нос лодки уткнулся в крутой и обрывистый берег. Остров был плоский, и укрыться от снега было негде; ямщики нарубили сухого тальнику, и белый дым костра смешался с густой сеткой снега... Я посмотрел на часы: было уже довольно поздно, и скоро за снеговой тучей должно было сесть солнце...

– А далеко еще до станка? – спросил я.

– Недалече, – ответил старик, бегая своими плутоватыми глазами. – Вот чаю напьемся, остров лямкой пройдем, потом ударимся на ту сторону...

Микеша усмехнулся.

– Остров десять верст, – сказал он равнодушно, – той стороной тоже десять... Ночь-полночь – и то на станке не будем... Ты писать можешь, а старик умнее тебя: обманул! – прибавил он. – Хитрой! Тюрьма сидел, и то оправился.

– За что? – спросил я.

– За купчиху, – ответил Микеша, спокойно и с некоторым любопытством вглядываясь в изменившееся лицо старика. У того глаза сверкнули внезапным огоньком.

– За какую купчиху... Врешь ты, – сказал он живо. – Не хлопай, чего не знаешь...

– Да тебя не Фролом ли звать? – спросил я.

– Ну, Фролом. Так что? – ответил он, настораживаясь, и в глазах его проступило что-то злое и чуткое, точно у зверя, сознающего опасность...

Историю этого Фрола мне рассказывали еще в Якутске, так как несколько лет назад она занимала всю Лену, небогатую вообще событиями. Это был когда-то хороший хозяин, и жена у него, значительно моложе его самого, считалась красавицей. Говорили, что он очень любил ее, но и мучил дьявольской ревностью, особенно после того, как, увлекшись каким-то кудрявым хохлом-поселенцем, она убежала было с ним на прииски... Ее скоро вернули, она захворала и умерла от тоски или от побоев. Фрол сначала очень тосковал, потом вдруг успокоился и даже повеселел. Когда ему напоминали о жене или принимались сватать других, он только лукаво усмехался и как-то загадочно уверял, что она опять убежала, но скоро вернется.

Однажды, лунною осеннею ночью, на середине перегона между двумя станками ему встретился ямщик соседнего станка, предложивший обменяться пассажирами. Это обыч-

ный прием ямщиков, выигрывающих таким образом целую путину. Пассажиры спали в открытых кибитках и не слышали даже, как ямщики перепрягали лошадей... Отъехав недалеко, встречный ямщик услышал назади как будто испуганный крик. Но он не обратил на него внимания и поехал дальше.

Оказалось, что пассажирка, ехавшая с ним до этой перепряжки, очнулась, когда Фрол влезал на козлы. Удивленная остановкой, она отодвинула фартук, и на Фрола взглянуло внезапно женское лицо, освещенное светом полной луны...

Что было после этого, и сам Фрол, и обезумевшая от испуга пассажирка помнили плохо. Только уже днем Фрол привез ее на станок, но вместо того, чтобы высадить у почтовой станции, привез к своей избе, сгреб в охапку, внес в избу и крепко запер. На расспросы соседей он объявил, что к нему опять вернулась жена и что теперь он ее уже не отпустит... Явился староста, собрались станочники, и у сумасшедшего с трудом отбили до бесчувствия испуганную женщину, оказавшуюся вдовой-купчихой из приленского города, часто разъезжавшей по торговым делам...

Суд признал Фрола невменяемым, и он опять вернулся в общество, только хозяйство его сильно пошатнулось.

– Как мог оправиться? – спрашивал теперь у меня Микеша, с любопытством присматривавшийся к странным огонькам, тревожно вспыхивавшим в глазах старика...

Я тоже с любопытством взглянул на Фрола. Он был низ-

кого роста, с широкими плечами, длинными руками и быстрыми движениями сильной обезьяны. В скуластом зеленовато-желтом лице, с тонкими, постоянно как будто жевавшими губами, виднелись типические признаки вырождения. Глаза бегали, и теперь в них загоралось лукаво скрытое мелькающее выражение, как будто он что-то затаил в себе, что-то относящееся до этой истории, известное ему одному, чему глупые люди, пожалуй, не поверят. Микеша приглядывался к нему с любопытством и отчасти с насмешкой; он, вероятно, давно уловил этот двойственный взгляд Фрола и по-своему характеризовал его часто повторяемым словом: «хитрой». Мне казалось, что из бегающих глаз этого станочника глядело просто сумасшествие... Очевидно, и теперь еще в нем, среди этих сумрачных скал, шла какая-то своя жизнь, полная сумасшедших мечтаний, быть может, радостных и светлых, а может быть, и еще более мрачных, чем эти горы. Но трудная доля ямщика, не дававшая отдыха и досуга от тяжелых повседневных забот, не выпускала его из своих тисков, и ей, вероятно, он был обязан тем, что ему позволяли оставаться на реке вместо сумасшедшего дома и тянуть до нового случая будничную лямку здравомыслящих земляков...

Впрочем, скоро беспокойные огоньки в его глазах, освещавшие эту глубоко скрытую и таинственную глубину омраченной человеческой души, угасли. Он стал распорядиться закипавшим чайником... Только лицо его стало несколько бледнее, и губы все как бы жевали что-то...

– Где-то теперь Островский? – спросил я, чтобы переменить разговор...

– Куда девается? – ответил Фрол. – Тоже где-нибудь чай варит на том берегу... Варнак проклятой!..

– Чего ругаешься? – спросил Микеша.

– Хвалить, что ли, стану... – огрызнулся Фрол. – Лодку с общества взял нахрапом... Лодка чего-нибудь стоит...

– На прииски пошел... Проклятое место сидеть не хочет, – задумчиво сказал Микеша и потом, усмехнувшись, прибавил: – А титаринские испугались. Тридцать человек бояться... Один человек не боится... Деньги, сказал бы, давайте, деньги дали бы... Удивительное дело... Уни-ат!

– А тебе любо? – ехидно спросил Фрол и, живо повернувшись ко мне, сказал: – Микешко этот вот какой человек: гоньба гонять – не хочу, жениться – не хочу, начальник возить – не хочу. Ничего не хочу! Как будешь жить?..

– Неволя жить не хочу, – задумчиво и просто сказал Микеша. – Пашпорт давали бы, белый свет пойду...

Фрол посмотрел на него долгим и насмешливым взглядом...

– Безумной! – сказал он убежденно. – Как пашпорт тебе дадут? Другой тоже пашпорт хочет... Все захотят, кто на станке останется? Начальник приедет, кто повезет?..

Микеша промолчал. Лицо у него было грустное. Быть может, он признавал неодолимую правильность аргумента, но внутри у него бессознательно, нелогично и непобедимо за-

село стремление к белу свету и вольной воле. Вообще мне казалось, что теперь роли ямщиков радикально изменились. Фрол представлял собою само здравомыслие, вековую мудрость ямщицких общин, – и он с уничтожающей насмешкой смотрел на «безумного» Микешу. В глазах последнего стояла лишь грустная растерянность и темное, бессознательное стремление... неизвестно куда...

– Как же ты говоришь, – заступился я за Микешу, к «безумию» которого я почувствовал глубокую симпатию, – как ты говоришь, что он не хочет работать, когда вот он ляжку с тобой же тянет...

– Так то я его нанимал, – ответил Фрол насмешливо. – Какой это станочник на чужой станок нанимается, свою очередь держать не хочет... Два раза бегал... обществом пороли... Может, скажешь, неправда?

Микеша продолжал молчать.

– Теперь, гляди, опять чего-то надумал, – с чисто мефистофелевской улыбкой продолжал Фрол, пронизывая бедного Микешу острым и насмешливым взглядом. – Скажешь – и это неправда? А зачем барахло взял?.. Сапоги зачем? Ружье для чего захватил? Смотри, общество все равно достанет тебя... Опять портки спустят.

Он говорил с негодованием и увлечением. Но Микеша вдруг перевел на него свои выразительные глаза, в которых засветилась определенная мысль, и сказал просто:

– Меняй у меня лодку. Моя лодка на станке осталась, хо-

рошая!..

Маленькие хитрые глазки Фрола забегали. Он был сбит с бескорыстно-обличительной колеи и не мог сразу попасть на другую, тем более что ему приходилось стать пособником подозреваемого нового побега. Через некоторое время, однако, он ответил заискивающим тоном:

– Придачи, Микешенька, не спросишь?

– Где придачу возьмешь? Лодку сегодня давай. Проезжающих доставим, я в лодку сяду, ты пешком назад пойдешь.

– А я потом как твою ладью достану? Станочники не отдадут.

– Бумагу пишем. Вот он бумагу пишет, – указал Микеша на меня.

– Пишешь бумагу? – живо спросил у меня Фрол. – Ну, когда так, – меняю!

Они ударили по рукам, и я тут же на листке, вырванном из записной книжки, наскоро написал условие, буквы которого расплывались от снега. Фрол тщательно свернул мокрую бумажку и сунул в голенище. С этой минуты он становился обладателем хорошей лодки, единственного достоинства Микеша, которому в собственность переходила старая тяжелая лодка Фрола. В глазах старого ямщика светилась радость, тонкие губы складывались в усмешку. Очевидно, теперь он имел еще больше оснований считать Микешу полоумным...

Снегу, казалось, не будет конца. Белые хлопья все порхали, густо сядясь на ветки талины, на давно побелевшую

землю, на нас. Только у самого огня протаяло и было черно. Весь видимый мир для нас ограничивался этим костром да небольшим клочком острова с выступавшими, точно из тумана, очертаниями кустов... Дальше была белая стена мелькающего снега.

Вдруг оба ямщика насторожились.

– Будет! – сказал старик, подымаясь. – Собирайся, ребята, халан проходит...

Где-то совсем близко послышалось веселое щебетанье птиц, как будто птичья стая радовалась опять наступившему свету, и вслед за этим я и оба мои товарища вскочили на ноги, пораженные, почти испуганные. Сплошная завеса снега разорвалась в вышине, и оттуда, как-то угрожающе близко, точно в круглое окно, глядел на нас огромный утес, черный, тяжелый, опущенный снегом, с лиственницами на вершине. Впечатление было такое, как будто кто-то огромный и мрачный тихо раздвинул снеговую тучу и молчаливо смотрит сверху на кучку людишек, маленьких и беззащитных, затерявшихся на пустом острове.

Мгновение... окно закрылось, утес исчез, как мимолетный кошмар, но снег уже пришел в движение и несся мимо, волнуясь и колеблясь. Опять в этой колеблющейся пелене мелькнул разрыв, другой, чаще и шире, и через несколько минут весь горный берег выступил перед нами в поражающем величии...

Огромные базальтовые скалы стояли у самой воды, возвы-

шаясь вершинами вровень с хребтом... Столбы, арки, крепостные стены с зубцами, башни, мосты, пещеры, фасады причудливых зданий, разбросанных по гигантскому склону, – все это, опущенное по выступам белыми каймами снега, облитое лучами заходящего солнца, полное покоя, величия и невообразимой первобытной красоты...

А последние столбы снеговой тучи мчались мимо, как остатки какой-то призрачной армии...

Ничего прекраснее этого зрелища я не видел никогда в своей жизни.

– Камнями этими поманили отцов наших, – сказал Фрол, и в лице его я прочел почти ненависть. – В них, говорит, золота лопатами гребь... Поди, возьми его! Однако, братцы, ехать пора... Бери, Микеша.

– А во-он – Островский идет, – указал Микеша, когда мы вышли на откос берега.

Под огромными горами, на побелевшей и залитой косыми лучами вечернего солнца береговой полоске, опять виднелась маленькая черная точка...

Долго еще после этого плыли мы по темной реке. Последние лучи заката давно погасли, горы утонули в густом сумраке, река как будто притаилась между смутными берегами, и всплески наших весел одни нарушали очарованное молчание, отдаваясь чутким эхом заснувших ущелий... Вверху было глубокое, темное небо, внизу таинственно мерцающая глубина... И до сих пор еще, порой, я вижу во сне эту темную

реку, и смутные отражения редких звезд, и эти горы, похожие в темноте на тучи, и нашу лодочку, покачиваемую невидимой волной великой сибирской реки... И на меня веет от этих воспоминаний глубокою, неизобразимою словами печалью. Откуда она – я сказать не могу... Отголосок ли невозвратного прошлого, смутное мерцание пройденного уже пути жизни? Или это определенная человеческая грусть этих станочников, обреченных караулить на диких берегах полосатые казенные столбы и холодные камни?..

– Огонь! – радостно сказал один из моих товарищей.

Действительно, за поворотом навстречу нам засверкал на берегу живой огонек костра под темными скалами. Подъехав ближе, мы услышали хриплый голос, выводивший какую-то песню, у костра виднелись три человеческие фигуры, в которых мы скоро узнали Островского и недавно встреченных нами бродяг.

Вероятно, заслышав плеск весел, Островский поднялся, отошел от костра и остановился, вглядываясь в темноту.

Потом он сошел на берег.

– Ага! Это вы? – сказал он. – Ого-го! и Микеша с вами...

– А вы, Островский, нашли себе товарищей, – сказал я.

– Ребята теплые! – ответил он с насмешкой в голосе.

– Не совсем только подходящая компания для девочки...

– Ни-и-чего! – ответил он уверенно. – Го-го! Островского никто не обидит, а за Анюту... горло перерву!..

– Островской! Куда ушел? С кем ты там разговарива-

ешь? – крикнул один из бродяг от костра.

– Молчи! Не твое дело! – грубо ответил ему Островский и, опять обращаясь к нам, прибавил: – Думаете, пропаду?... Нет, не пропаду... Был дурак, чуть не пропал... Ха! Думал святую землю работать, других научить, как за нею ходить надо... Спасибо, самого научили!

– Островской, дьявол! – послышалось опять с берега, и один из сидевших у костра бродяг зашевелился...

– Однако вы лучше проезжайте по добру, – сказал Островский. – Товарищи мои выпили... Как раз захотят познакомиться...

Фрол быстро двинул лодку багром, и она нырнула с нами из освещенного пространства в темноту.

– Храни господи, – сказал старый ямщик. – Жиган ныне голодный, как волк. На станках не подаем мы... А водку жрут, – прибавил он с удивлением и, пожалуй, с завистью...

Мне показалось, что Островский тоже был слегка выпивши. Мы отъехали сажен тридцать, когда с берега послышался пьяный голос бродяги:

– Микеша! А Микеш! Желторотой! На волю хочешь?

– Молчи ты, пьяный! – сказал сурово Островский.

– Ну, ничего, не сердись, Островской, я ведь любя...

– Микеш!.. Мике-ешь!.. Микешенька... – катилось еще долго над сонной рекой, перемежаясь пьяным хохотом. Ямщики молча налегали на весла, и вскоре огонек скрылся из виду.

Ночь продолжала тихо ползти над Леной. Взошла луна, красная, как кровь, и опять закатилась за вершину близкой горы. Северная Медведица спустилась низко, все растягиваясь и вырастая... Потом мутное облако поглотило редкие звезды, а наша лодка все плыла... Я как-то не заметил, как мы еще раз перерезали реку, и спохватился только, когда лодка зашуршала килем по песку.

Кругом было пусто. За широкой береговой отмелью лежала полоса гор, молчаливых и сонных...

Ямщики сложили весла, стали в лодке, приставили руки к щекам, и над пустынным берегом, будя ночные отголоски, понесся протяжный крик:

– Аг-ы-ы-ы...

Фрол кричал, видимо надрывая старую грудь. Микеша тянул свободно, полным и звучным голосом. Никогда еще я не слышал подобных звуков из человеческой груди... Крик был ровный, неустанный и гулкий, точно тягучий отголосок огромного колокола... Это был обычный призыв с берега к спящему за отмелью отдаленному станку.

– Аг-г-гы-ы... ямщики!

Старик сорвался глухим хрипом и болезненно закашлялся.

– Э-эх, – сказал он с горечью, – съела у меня голос река-матушка.

Микеша продолжал кричать, не останавливаясь для передышки...

– Идут, – сказал наконец Фрол.

Действительно, за отмелью мелькнули огни фонарей, и Микеша тоже смолк. И тотчас же со стороны реки, из-за горы, как бы в ответ на крик ямщика раздался такой же протяжный крик, только чудовищно громкий и глубокий. Мы невольно переглянулись и замерли, охваченные безотчетным испугом... Казалось – сказочное чудовище проснулось и завыло где-то неподалеку.

– Пароход, – сказал первым опомнившийся Фрол.

Вскоре в глубине темной ночи послышались частые гулкие удары, и на реку, сверкая огнями, выплыл пароход с двумя барками. Микешка быстро вскочил в лодку и отсунулся от берега, кинув Фролу его узел. Через минуту лодку едва можно было разглядеть на темных волнах Лены.

– Прощай, Микеша! – крикнул я вдогонку.

– Прощай-ай! – донеслось в ответ из темноты.

– Варнака к варнаку тянет, – с презрением сказал Фрол. – К жиганам, видно, пристанет.

– А ты разве не знал, зачем он у тебя выменивает лодку? – сказал я. – Зачем же уступил?..

Фрол ответил не сразу.

– Хорошо ли бумагу писал? Крепко ли? – спросил он через минуту. – Станочники чисто собаки. Не отдадут, пожалуй.

В это время к нам подошли станочники с фонарями, и все мы молча смотрели, как пароход, повернув к нам оба огня,

бежал как будто прямо к нашему берегу... Под лучом парового огня мелькнула на мгновение черною тенью лодка Микеша и исчезла...

– Кто на реке? – спросил один из ямщиков.

– Микеша, – ответил Фрол торопливо. – Со мной приехал, да, вишь, сейчас отсунулся.

– Пошто?

– Я разве знаю?.. Ничего не говорил. А видно, опять в бега снаряжился.

– В бега, так пошто за барку зачалился? – сказал опять пришедший ямщик, зоркие глаза которого, очевидно, пронизывали темноту там, где я ничего не видел.

– С жиганами, видно, стакнулся. Жиганы повыше камней ночуют.

– Ну, ин, видно, так, – равнодушно подтверждали ямщики. Некоторое время они следили за поворачивавшимися огнями парохода, как бы обсуждая, что принесет им с собою эта редкая еще на Лене новинка: облегчение суровой доли и освобождение или окончательную гибель... Оба огня на кожухах исчезли, и только три звездочки на мачтах двигались еще некоторое время в черной тени высоких береговых гор... Потом и они угасли... Над Леной лежала непроницаемая ночь, молчаливая и таинственная...

Недели через две с теми же остановками и спорами, мы все еще двигались кверху по замерзающей Лене, когда нас догнал знакомый почталион, встреченный нами еще под

Якутском и теперь возвращавшийся обратно. Сообщая различные новости пройденного уже нами пути, он рассказал, между прочим, что на несколько станков ниже Батамая оголодавшие бродяги ограбили было проезжего купца. Согнали народ и устроили облаву: варнаки отсиживались в пещере, отстреливаясь камнями, но в конце концов сдались. С ними, говорили, попался молодой ямщик, убежавший с Титаринского станка.

– А Островского с ними не было? – спросил я.

– Нет. Он отстал от них раньше.

– Неужели Микеша тоже участвовал в грабеже?

– Кто его знает. Сам говорит, что участвовал, но ни купец, ни бывший с ним ямщик его не видели. А бродяги смеются: «Так, говорят, припутался к нам желторотый зря...»

Мне казалось, что я понял Микешу: он, очевидно, думал, что если ему удастся выбраться «за горы» через острог, то это будет крепче, и станочники его уже не достанут, как свою собственность, обратно... Да и сам он, долгим общением в остроге с «умными» и бывалыми людьми, надеялся, вероятно, просветиться...

Да, всякие бывают мечты... Сбылась ли мечта молодого станочника – я не знаю...

1900–1901